

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...

Он лежал, вжавшись в борозду. Хотелось сплющиться и совсем провалиться под землю, чтобы не видеть творившегося ада, не слышать звуков смерти, какофонией звучавших и слева, и справа, и над головой. «Неужели это конец? Обидно, повоевать не успел, ни одного фрица ещё не уничтожил... И вот на тебе, гибнуть в первом бою. Чёрт, – ругнулся про себя, – хотя бы чуть позже...»

Пули, как горох, брошенный с размаху, сыпались вокруг, впиваясь в землю. И самолёты над головой чуть не на бреющем полёте стригли землю пулемётными очередями.

А ведь всё началось так обнадеживающе. Думал, что рванут солдаты и он вместе с ними после громкого командирского: «Вперёд, за Родину!» – и сметут фашистские ряды.

Правда, сначала единой силой поднялись – и вперёд на врага. И Степан со всеми, возбуждённый, «ура» кричит. Но видит: один солдат упал, потом будто споткнулся и тяжело рухнул на землю другой. Степан же вперёд бежит, стреляет. И вдруг как вкопанный остановился. Один остался, никого рядом нет, никто не стреляет. Вот тут

страх его и одолел. А немцы продолжают молотить из пулемётов. Упал Степан на землю: что с винтовочкой-то против этой силы сделаешь...

92
«В этой ситуации одной необдуманной храбрости мало было, – рассказывал Степан Григорьевич, – мы же сами прекрасно видели, как немец готовился к бою. Когда фашисты на высоте засели, им с самолётов подбрасывали продукты, оружие. Основательно они там окопались. Вот и попробуй возьми их на одно ура. Перед атакой наши «катюши» хорошо пропахали высотку. Но их скоро засекли и из дальнобойных по ним... Да и тактическую ошибку допустили, решив зайти с тылу. А немцы-то круговую оборону заняли...»

Этот бой, первый для Степана Хохули, навечно вписан в историю. Отсюда в сорок втором дивизия, в которой воевал сибиряк, одной из первых начала бои за великий город. Мы знаем, что не на жизнь, а на смерть велись они.

«И вот лежу я на поле, – продолжает воспоминания Степан Григорьевич, – и о чём, думаете, мысли? Конечно, что конец мой пришёл. Говорят, что в такие моменты вся жизнь перед

глазами. Вся не вся, только подумалось с горечью, что вот своих пацанов малолетних не ужу больше. Марфушу не обниму... Но из головы и другая мысль не выходит: только винтовку не бросать. Уцепился за неё мёртвой хваткой. Голову ни на сантиметр поднять не могу. Слышу, кто-то кричит: «Опять немецкий стержец летит!». Совсем я в землю вжался. Вдруг резануло по спине и голове. «Ну, – думаю, – всё, конец... Прощайте, родные и близкие». Жду, когда смерть наступит. Но она что-то не торопилась, только сильно жгло в тех местах, где резануло. Зло взяло: сколько же здесь валяться? Решил: пан или пропал. Подхватился – и с винтовкой по полю вперёд... А пули продолжают вокруг жужжать, как осы.

Но, видно, не судьба... Ни одна не настигла его. Добежать успел до лога, где медсанчасть расположилась. Тут и силы кончились. По этому ложку раненых до реки переправляли, и по ней – в Сталинград. Правда, в городе долго не задерживали. Степана оттуда в казанский госпиталь отправили.

«Лежал, поправлялся.

А однажды приходит в палату врач:

– Собирайся, Хохуля, тебя в горсовет вызывают.

– Зачем?

– Собирайся, узнаешь...

Поехал. Завели в один из кабинетов горсовета.

– Вы Хохуля Степан Григорьевич? – спрашивают.

– Так точно! – по-военному громко и чётко отвечаю.

– Нам поручено вручить вам орден Трудового Красного Знамени!

Прикрепили награду на гимнастёрку, поздравили. А я никак в себя прийти не могу.

Когда в госпиталь вернулся, увидели высокую награду и шутить стали:

– Ну ты даёшь, Хохуля! Вроде бы на фронте воюешь, а награды за труд получаешь. Хоть опытом поделись, как его, орден-то, заработал?

И тут же поздравлять начали.

А я в ответ:

– Давайте всем гуртом после войны к нам, в Сибирь. В шахту свожу, вот и покажу, как там ордена зарабатывают».

Свой первый спуск в шахту он до малых деталей помнил. Как и первый свой бой. Вели его

по тёмным штрекам. И всё больше на четвереньках протреливались. Кровля потрескивала, как огромная лучина.

«Матерь Божия, будто в преисподней! – думалось Степану. – Куда ж меня чёрт дёрнул сунуться?! Работал бы в своей деревне, землю пахал бы, ан потянуло на большие заработки...»

А соблазнил их, двадцать пять деревенских парней, вербовщик из города. Золотые горы наобещал. Тогда такие вербовщики-агитаторы по всей России разъезжали. В основном по деревням. Тогда-то в деревне народу больше жило. А в городах на новых шахтах, заводах, стройках рабочих не хватало.

«Хотя мы тогда уже жить неплохо стали. Двух лошадей купили, плуг, – рассказывает Степан Григорьевич, – дом, правда, мазаный поставили. И корова-кормилица была. Но подумал: «Авось в городе деньжат заработаю да ещё что-нибудь прикупим». До меня ещё один брат завербовался в город на строительство железной дороги. Ну и я в город подался».

Привезли деревенских парней в шахтёрский город, поселили в общежитии. Спецовки выдали. И без всякой учёбы – в забой.

«Работай не ленись, всему и научишься...» – таков был первый урок будущего горняка. Тогда ещё в городе шахта 1-6 действовала, но добирали в ней уже последние тонны угля. Выработки были невысокие, сдавленные.

«На коленях ползу, а лесина, к ноге привязанная, за мной тянется. Когда получил первую зарплату, сразу решил приодеться, молодой же был. Купил брюки, пиджак, чтобы по-городскому выглядеть. Деньги-то на этом и кончились. Какие там обещанные заработки, – смеётся Степан Григорьевич, – пятьдесят-семьдесят рублей. Иной раз ползёшь, как гусеница, медленно, с привязанным бревном, времени уйма для размышлений...»

Вспоминался вольный деревенский простор, солнце яркое. Как мальчишкой пылил ранним утром по деревенской улице босой, коров бичом подстёгивал. Как нелегко ему было, десятилетнему пацану, батрачить на соседа-кулака. И всё равно счастье в сердечке жило. В лесок загонит коров, сядет под берёзку, слушает, как листья шелестят, будто меж собой шепчутся. Смотрит, как вокруг муравьишки-трудяги туда-сюда снуют. Глаза прищурит и видит, как солнце сквозь листву потоки тёплых лучей пропускает. Сплошная благодать в душе.

А здесь, в шахте, хоть закрой, хоть открой во всю ширь глаза – сплошная темень. Только изда-лека голова навалотбойщиков глухо доносятся.

А на-гора поднимется – и опять жизнь хоро-ша! Радостно становится и всё забывается. Мо-лодёжь в городе интересная жила, активная. До всего парням и девочкам дело было. В комсомол многие вступали. Вот и Степана уговорили. Да, собственно, уговаривать не сильно пришлось. Ему самому хотелось поближе сойтись с этими девочками в косынках да энергичными коротко стриженными парнями.

Прибегут, бывало: «Давай, Стёпа, скорее оде-вайся, лес привезли, айда на разгрузку!»

После смены, кажется, ни рукой, ни ногой ше-вельнуть не в силах, а позовут – вскочит с постели, рубаху на себя быстро натянет и бегом в тупик. Ве-село идёт работа, и усталость как рукой снимает.

Степан был парнем серьёзным, рассудитель-ным. Когда навалотбойщиком стал (уже при пе-реводе на шахту 5-7, потом переименовали её в «Судженскую»), предложили ему бригадирство. «Ну, Хохуля, возглавишь бригаду?» – спросили начальники.

Спросили с такой интонацией, будто его ответ им совсем не нужен и за него всё давно решено. Так вот и стал бригадиром комсомольской. Прав-да, тогда бригады были не такие, как потом, когда в составе их значилось по семьдесят-восемьде-сят процентов комсомольцев. Тогда их вместе с бригадиром всего трое было.

В работе стал Степан свою деревню забы-вать. Где-то в затаённом уголке сердца таилась тоска по деревенским просторам. Но уже не та-кая острая. Пробивалась, когда мать да братьев вспоминал. Когда отпуск подошёл, решил их на-вестить. Подарков накупил всем. Мать увидела сына в пиджаке, брюках, обрадовалась несказан-но: сынок в жизни устроился, что ещё матери на-до... Всегда боялась, что без отцовского слова да примера (отец в четырнадцатом году погиб на Империалистической войне) дети, а их было пя-теро, непутёвыми вырастут. Тяжело матери при-шлось, потому и батрачили с малолетства. И вот выросли людьми.

На третий день гостевания Степан заявил:

– Я жениться надумал...

– Да кого же выбрать успел, сынок? – всплес-нула руками мать.

– Марфушу...

– Марфушу! – ахнула мать. – Сынок, так она ж с другим любится...

– Всё равно пойдём сватать! – твёрдо сказал Степан.

А Марфуша взяла да заартачилась. Не пото-му, что Степан не нравился. Знались они давно. Когда, бывало, у его матери соберётся дере-венская молодёжь на вечерку, она нет-нет да и стрелнёт на Стёпку глазом. И тот в ответ тоже. Но решение Степана уехать в город развело их, так и не дав времени на любовь.

А тут, видите ли, явился, уговаривает. Но поартачилась-поартачилась, и пошли они в сель-совет, где и расписались. А через два дня повёз Степан свою жену в город.

Жили сначала у двоюродного брата. Потом шахта выделила передовому бригадиру неболь-шую квартиру. Не каждому такое счастье выпада-ло. Но слава о Степане, его трудовых достижен-иях уже весь город облетела.

Помнит Степан Григорьевич и свою первую премию. Несёт он её, а эта премия на всю округу визжит – поросёнком живым наградили. По тем временам эта награда большую ценность имела. Потом корову дали, сапогами награждали, вело-сипедом.

Стал Степан Григорьевич совсем городским. Семья выросла. Дочь Нина, сыновья Володя и Витя пополнили её. Всё ладно да хорошо шло у Хохули старшего. А тут ещё путёвкой наградили в Бердский санаторий. Первый раз поехал шахтёр отдыхать по-культурному. Всей семьёй провожа-ли. Вместе с ним по путёвке поехал и секретарь парткома шахты Юхов. Но не успели они наотды-хаться. Страшная весть о нападении фашистской Германии застала их здесь.

«Вот, Степан, и закончились золотые денёч-ки», – сказал, уезжая, Юхов.

Через два дня уехал домой и Степан. Он по-лучил бронь. Фронту нужен был уголь. Как и всю-ду в стране, на шахте каждый работал за троих. Не щадили себя, чувствуя виноватыми перед те-ми, кто с оружием в руках бил фашистов: вот, мол, мы в тылу, а они воюют, жизни свои отдают. Хотя в тылу было не легче, только разве что пули над головой не свистели.

В марте сорок второго ушёл на фронт и Степан. Маруся (так уже на городской манер называл жену Степан) со всеми детьми провожала его на вокза-ле. Долго ещё в ушах его стоял плач детей и жены. Вспоминал, как детишки цеплялись за его штаны, ревели во весь голос, да так, что и он не выдержал, всплакнул. Сердце разрывалось от сознания: кто знает, может, в последний раз обнимал их.

Подсказывала бы жизнь, где и куда нам очередной шаг сделать, какой бой будет первым и какой последним. Ведь вся наша жизнь – вечная борьба: за счастье детей, за доброту, за честь, за свое здоровье и за здоровье родных...

Те бои, сороковых, были за свободу Родины, то есть свободу родных и близких людей.

После госпиталя, где его нашла награда за труд, Степан Хохуля попал в Москву, в составе стрелковой дивизии воевал под Смоленском. В болотистых местах солдаты сутками лежали в воде. А потом было наступление на Смоленск.

«Ох и бои были! – вспоминал Степан Григорьевич. – Особенно танковые. Танки шли – неба не было видно от пыли. А мы – за ними. Однажды, уже на подходе к Смоленску, шли пехотинцы по дороге Москва – Южно. «С дороги – ни на шаг в сторону, – предупредили солдат, – заминировано».

Но нашёлся один непонятливый. Шагнул за линию дороги. Грохнул взрыв. Да если бы один погиб. Взрыв унёс жизни нескольких человек. У Хохули вырвало кусок сапога и палец на ноге срезало. Второй осколок метил прямо в сердце, да угасла сила его, документы, фотографии, письма родных и партийный билет спасли.

Про партийный билет особый рассказ. Получал его Хохуля еще до войны. Вызвал его секретарь партийной организации шахты и говорит:

– Ну что, Степан Григорьевич, ты у нас отменный работник, человек честный, не думаешь в партию вступить?

– Надо бы, – отвечает, – честно, думал уже. Только вот грамоты маловато. Только кое-как писать научился...

– Ну это не самое главное, – успокоил секретарь, – главное, чтобы душа была партийной...

Оформили, какие нужно было, бумаги. И в один из дней поехали в городской комитет партии. По дороге Степан очень волновался. А как перед членами бюро встал, совсем растерялся, как малой мальчишка. И посыпались вопросы: кто в какой стране секретарём компартии является, какая власть там-то и там... А он от волнения и ответить не может. Так вот и не приняли в партию как политически неграмотного. Стыдобушка жуткая одолела Степана. Решил: «Нет, в партию всё равно вступлю, не таков Степан Хохуля, чтобы отступать». Когда в следующий раз стали задавать вопросы, на все ответил, не стоял немой перед членами бюро. Пусть и не так грамотно ответил, но по существу...

После осколочного ранения залитый кровью билет сменили на новый. Но навечно осталась в сердце память о том, первом билете.

На фронт после госпиталя Степан уже не вернулся. Служил в составе войск МВД.

Семья его в годы войны вновь перебралась в деревню. Там полегче выживалось. Марфа работала дояркой, скотину держали. И взрослые, и детишки сыты были на деревенских харчах.

Но вот отгремели последние залпы войны. Солдат вернулся домой. И сразу пошёл на шахту «Физкультурник». Узнал, возможно ли квартиру тут получить. Пообещали. И тогда уж к семье поехал. И как только зашёл в избу, ребятишки кинулись навстречу: «Папка, папка вернулся!». Аж завизжали от радости, переполнявшей детские сердечки. А Марфа уже бежит: «Стёпа, Стёпушка! Дождались!»

Как водится, собрались, стол в горнице накрыли. Брат Иван уговаривать стал:

– А что, Степан, бросай-ка ты свою шахту – да на родину... Будем вместе жить. Мужиков войной покосило, и твои руки ох как бы пригодились в деревне. Работы – непочатый край, любую, какая душе угодна, выбирай...

Призадумался Степан. После пережитого, может, и впрямь душе отдых дать, к землице вернуться, на вольный воздух, хлеб сеять, живность растить. Да вмиг оборвались мечты, когда о шахте вспомнил.

– Нет, – заявил, – шахтёр я, ехать надо...

Сначала на чужой квартире жили. Позже от шахты дом получили. Хорошо и счастливо зажила семья. Опять слава о Степане Хохуле, бригадире лучшей проходческой бригады, разнеслась. Вот и второй орден Трудового Красного Знамени получил, знак «Шахтёрская слава» III степени. Прибавлялись награды, и семья росла. Ещё двое сыновей родилось. Стал отец подумывать о том, чтобы для кого-нибудь из них рядом дом поставить, чтобы старость с Марфушей не одним доживать. Усадьба большая была. На ней он ещё один домик построил.

И стояли они рядом, как отец и сын. Один – большой, другой – поменьше. Оба в зелёный цвет крашены. Окнами друг на друга смотрели. Да только мечты отцовские не сбылись. Разлетелись дети по всему свету, родители помогли им высшее образование получить, и захотели они самостоятельными быть.

Надеялись старики, что хоть старший с ними будет. К тому всё вроде бы и шло. Когда вернулся

Володя из армии, к отцу с просьбой обратился: «Пап, я на шахту пойду, ты бы подучил меня...».

А Степан Григорьевич к тому времени уже на пенсии был. Но пришлось на шахту вернуться: как сыну не помочь на ноги встать. Но сын дальше надумал учиться, отцовских уроков мало показалось. Институт окончил. И тоже уехал.

Хотя и разлетелись сыновья, старики одинокими не были. Когда неожиданно смерть унесла Витю, решили, что жене его двух детей не вытянуть, и взяли на воспитание его старшую дочь. Хорошая девчонка выросла. Да любовь рано встретила, замуж выскочила. Ворчит Степан Григорьевич, хотел бы, чтобы она выучилась, специальность приобрела, но... Ворчит, но по глазам видно, что любит свою Таньку. Глаза так и светились, когда о ней говорил. Глаза у него не по возрасту живые, взгляд пронзительный, как у молодого. Нет в глазах его той блёклости и усталости, какая присуща старикам. Энергия его души в них так и искрится.

– Я как на пенсию ушёл, – говорил он, – решил заняться садоводством, яблони посадил. Душе радость. Да и детям надо хоть немножко помочь.

У него даже и мысли не было, что дети давно самостоятельные, обеспеченные. Для него они оставались такими же мальчишками, как и много лет назад. В душе всё равно хранилось чувство долга родителей перед детьми, чувство глубочайшей любви к своим детям.

– Много ли нам со старухой надо?

И почти весь доход с огорода детям раздавали. Надо отдать должное и им. Кто-нибудь из них обязательно летом гостил у родителей. Они видели радость стариков, когда приезжали. И не хотели лишать их этой радости.

Чисто, уютно, тепло было в этом доме. Скромная обстановка, ничего лишнего.

Когда я была у них в гостях, хозяин с грустью смотрел в окно, разукрашенное изморозью.

– Яблони вот не дают урожая, – сетовал, – помёрзли. Да и то сказать, какой я садовод. Шахтёр...

Яблоньки высокие, стройные выросли. Яблоко не давали, но не срубал их хозяин. Разве важен только урожай? Главное, весной они красавицами становились, как невесты в нежно-розовом наряде. Зелёными листьями всё лето шумели и напоминали хозяину тот лесок, где он мальчишкой пастушком скот чужой пас, и те сады, что проходили военными дорогами солдаты сороко-

вых. А может, оживал в душе тот сладостный миг, когда, выезжая на-гора, до безумия радовался, вдыхая только ему, шахтёру, известный аромат просто свежего воздуха, аромат жизни.

ДАРЬЯ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Старая серая калитка, продублённая дождями, палящим солнцем, зимними морозами, отжиwała свой век. И еле держалась на расшатавшемся шарнире.

Настюха подняла щеколду и потянула калитку на себя: «Ну вот, ёлки-палки! Всё, кончилась её жизнь...».

Калитка с шумом плюхнулась на траву, стукнув по ноге девушку.

«Нет хозяина – и порядка нет, – думает Настя. – Надо дядю Толю попросить починить и калитку, и забор кое-где, он не откажет, хороший дядька. Да и этот ржавый почтовый ящик надо убрать. Всё равно никто не приносит сюда писем».

Насте – двадцать три. Вот уже год она приходит в этот дом от службы «Забота». Сюда она идёт с желанием, её ждёт любимая бабулька. Старенькая, но очень интересная. Настя любит с ней разговаривать. Ведь баба Даша – ходячая энциклопедия. Память у неё – дай Бог каждому, даже молодому. Она всё помнит из прошлой жизни: имена, фамилии, события.

Правда, у этой бабушки очень своеобразный подход к датам. Не цифровой. Она не называет ни год, ни месяц, в которые произошло событие. У неё воспоминания образные. Например: «Я родилась в год, как мама говорила, когда Колчак расстреляли». Или: «Мне, дай Бог памяти, аппендицит вырезали тогда, когда один год от начала войны прошёл... Дождливый год был, думала, на поле ничего не вырастет. Ан, Господь миловал, наоборот, пшеницы такой богатый урожай собрали!». Или вот так: «Брата похоронили, когда в колхозе склад с зерном сгорел...».

И от таких образных представлений, созвучных с произошедшим событием, от необычного подхода к календарным датам жизни общаться с бабой Дашей не скучно. Сразу мозг включается, как при решении кроссворда, в поиск даты.

Настюха проходит по двору, поднимается по скрипучим, выбитым ногами до ямок ступенькам и открывает такую же скрипучую дверь. Половицы в комнате покрыты тёмно-жёлтой краской. Раньше, в советское время, во многих домах половицы красили. Это сейчас линолеумы, ламинаты.

наты, плитку кладут на пол. А тогда хозяйки минимум в три года раз освещали краской пол.

У бабули давным-давно он не подкрашивался. Облупился весь. И печь уже покосилась.

В углу под рушничком висит икона Божией Матери с маленьким Иисусом на руках. На полочке под образом – лампадка, которую хозяйка зажигает по праздникам. И не только православным. Всегда горит этот маленький огонёк на День Победы. Чит хозяйка этот праздник. Трудно представить, как умудряется доставать до лампадки, но в нужные дни огонёк всегда загорается.

Несмотря на ветхость жилья, внутри сохраняется уют. Уют старости, прошлой жизни. У Насти всегда становится тепло на душе, когда она входит в дом. Энергетика здесь добрая и успокаивающая. Она копилась десятками лет в уголках комнат, пробиралась в каждую вещичку. Её создавали муж бабы Даши Иван и она сама. Хозяин сам построил домик, руками обглаживая каждое брёвнышко. И печь сложил сам.

Они были счастливы в этом доме вдвоём. Деть Господь не дал. Вернее, дал однажды сыночка, но через три года и прибрал. Заболел их Васенька и за неделю умер. Даже медицина не помогла. Дарья тогда хотела грех на душу взять, обдумывала, как уйти с этой земли: то ли повеситься, то ли таблеток пачку-другую съесть. Плакала днями и ночами. И, если бы не её Ванечка, она бы точно руки на себя наложила. А Иван даже рассчитался с работы и полгода выхаживал свою Дарюшку, так он её называл.

– Почему ты меня так зовёшь? – однажды спросила она.

– А как по-другому? Дарюшка – это дарёный мне жизнью подарок в твоём облике.

В город они приехали из деревни, где родились и жили до первых послевоенных лет.

– Когда война-то началась, – рассказывала Настёне Дарья, – мне годов шестнадцать было. Мужиков деревенских и Ванечку моего забрали на фронт. Как раз в этот год тятя мой умер, царство ему небесное. Я же тогда и думать не думала, что Ванечка моей судьбинешкой станет.

Почти вся деревня получила похоронки на мужиков. Вернулось всего пятеро.

– И Ванечке моему повезло, живой остался. Правда раненый дважды. Невест много было в деревне, все хотели родить детей. А от кого рожать-то? Я даже и не держала в голове, что замуж выйду, не красавицей была, – рассказывая

это, она еле заметно улыбалась и будто уплывала в те далёкие времена.

Иван однажды вечером подошёл к родительскому дому Дарьи, сел на брёвнышко, заменявшее скамейку. Сидит курит. Ждёт, когда Дарья придёт с вечерней дойки.

– Ты чего тут, Ваня, сидишь? – спросила. – Али чего надо?

Иван загасил самокрутку.

– Сядь, Даша, поговорить надо.

Она присела рядом.

– Выходи, Дарья, за меня, – без всяких вступлений начал он.

Сердце у Дарьи заколотилось. Казалось, что Иван слышит каждый его толчок. Но виду, что это предложение застало её врасплох, не показала. Разве могла она мечтать о том, что кто-то её полюбит, что замуж позовёт!

– Ваня, – она посмотрела ему в глаза, – ты это серьёзно?

– А разве таким шутят?

– Ты посмотри, девок-то вокруг сколько красивых... Молодые за то время, пока вы воевали, в невест превратились. Вон Мария – красавица! А я что? Средненькая...

– Глупая ты, Дашка, – детским именем назвал он её. – Разве ж мужик только за красоту любит? Видишь ромашку, – он показал на цветок у забора, – через недельку ничего не останется от этого веночка беленького. Я знаю, что ты добрая, честная, не пустая, как жбан порожний. А ты знаешь, – Иван на некоторое время замолчал, – я тебе признаюсь, что там, на войне, я только о тебе и думал. Хотел написать, но не осмелился: а вдруг откажешь? А на войне душа не должна болеть. Надеждой жили мужики. И я тоже. Знал, что в деревне женихов нет. Думал, вернусь и вместе жить будем. Так выйдешь за меня?

Дарья опустила глаза:

– Мы даже не гуляли вместе ещё, не целовались...

– Вот беда. Да нацелуемся ещё, если «да» скажешь.

– Да, Ванечка... – робко произнесла девушка.

Он обнял Дарью за плечи. А она всё ещё не могла до конца поверить, что тайные её мечты, родившиеся ещё до войны, сбылись. Она уже тогда тихо и секретно от всех любила его. Когда на фронт Ванечку провожали, она смотрела вслед, пока не скрылся за воротами деревни. И молилась, чтоб живым вернулся. Наверное, молитвы были услышаны...

Настя проходит к столу и ставит сумки с продуктами.

– Кто там пришёл? – раздаётся слабенький голос.

Из-за двери соседней комнаты выходит костыль (так она называла тросточку), следом показывается рука, худенькая, обтянутая прозрачной кожей. А затем и хозяйка этой руки. Туловище её согнуто почти пополам.

– А, это ты, дочка!.. – радостно с небольшим скрипом, будто голос слегка подстужен, произносит хозяйка. – Наконец-то дождалась тебя.

– Баб Даша, я же ещё несколько квартир должна была обойти!

– Знаю, знаю, но больно уж скучно мне без людей. Не хватает мне их.

Настя специально оставляет бабу Дашу на потом, чтобы подольше с ней побыть, поговорить, сделать побольше дел. Ведь баба Даша совсем слабенькая.

Сколько раз ей предлагали квартиру, небольшую, тёплую, где ни дрова, ни уголь не нужны, а она ни в какую не соглашается.

– Умирать буду здесь, в своём доме, – сказала как отрезала. – Ванечка для меня его строил. Уж как-нибудь доживу, немного осталось. Мне кажется, что Ванечка всё так же рядом со мной. Здесь его дух ещё витает, каждая досточка им пахнет. Скорее бы уж к нему пойти...

В город они приехали, когда решил Иван на шахту податься. Жили в шахтовом общежитии. Даша после смерти сыночка пошла устраиваться на работу в больницу. Она помнит, как пришла туда. Стоит в коридоре, озирается.

Подожла женщина в белом халате:

– Вы к кому, девушка?

Дарья немного растерялась:

– Да я ни к кому. На работу бы устроиться...

– И кем же вы хотите работать? – улынулась женщина.

– Ну хоть кем, может, за больными ухаживать...

– Хорошо, пошли со мной.

Она повела девушку в кабинет, на двери которого висела табличка «Врач Кузнецова В. И.».

– Давай познакомимся, я – Вера Ивановна.

«Так это же она врач! – сообразила Дарья. – В. И. – это и есть Вера Ивановна».

– Пойдёшь в санитарки? У нас отделение тяжёлое – хирургия. Нужны нам работники не только старательные, но и такие, кто людей любит, у кого сердце доброе. Да и трудиться у нас надо много.

– Я не боюсь работы.

– Ну вот и хорошо.

Дарья работа нравилась. Она тщательно убирала палаты. Присматривалась ко всему, что делали медсёстры. И уже могла бы и укол поставить, и капельницу подключить. Одно печалило: не допускали до медицинских процедур – не было образования нужного.

Ей нравилось разговаривать с больными. Бывало, подойдёт к кому-нибудь, сядет рядом, утешает, расспрашивает о семье, о жизни. И полюбили Дарью в отделении. Больные иной раз сами звали её посидеть рядом, отвести душу, о болячке забыть. После смерти сыночка её тянуло к людям. Сердце с ними отходило, боль глушилась.

Настенька накрывает на стол. Бабуля садится обедать. А Настя подтапливает печку, сыплет ведро угля, чтобы тепла и на ночь, и на утро хватило. Включает телевизор. Его подарил Анатолий. Единственный из соседей, кто тоже ходит к бабе Даше. Ещё мальчишкой, оставшимся без отца (война забрала), он прибежал сюда к дяде Ване. Тот учил пацана всё делать своими руками, хозяйски думать и поступать.

– Учись, сынок, всему. Кто много знает и умеет, тот и богат, и ни от кого зависеть не будет. Запомни это.

– Спасибо тебе, Иван, – говорила Толина мать, – ты ему как отец.

– Да что ты, Катерина... Это он мне как сын.

Сейчас на улице, где стоят дом Анатолия и домишко бабы Даши, другого жилья нет. Всё ветхое снесли. От дома к дому – проплешины бывших дворов, заросшие травой и кустарником. А дом бабы Даши вообще стоит на отшибе. Они с мужем строили его на выделенном предпоследнем участке улицы. Дальше, метров через триста, – поле, а за ним кладбище. Оно уже так разрослось, что и отведённое недавно место для захоронения скоро будет тоже занято. Много народу поумирало за последние годы. Ванечки нет уже почти тридцать лет. Как осталась Дарья без него, без работы, затосковала. Всё стало рушиться, в огороде уже ничего не сажала, сил не хватало. Да и много ли ей надо.

А в своём доме всё равно дела всегда найдутся. Вот калитку, Настенька говорит, надо ремонтировать.

– Я дядю Толю попрошу, он сделает, – Настя садится рядом с бабулей.

– Да он и сам говорил, что, как минута свободная появится, придёт и сделает. Сам уже давно не мальчик, и ему уже тяжело помогать... Спаси-

98

бо, дочка, за обед, – она отодвигает тарелки. – Вкусно было, поела в удовольствие.

– Да сколько ты, баб Даша, поела-то, как птичка...

– А мне и этого хватило. Организм мой уже не требует много. Хожу потихоньку, и есть не сильно хочется. Вон по телевизору говорят, что те, кто столько, как я, живёт, у других отнимают годы.

– Да что ты, бабуля, где ты такое услышала? Живёт каждый столько, сколько Бог определит.

– Так-то оно так. Но столько жить уже устаёшь. Жизнь-то хороша, когда видишь, что кто-то родной рядом... Что кому-то нужна. А тут ни родных, ни близких. Ты да дядя Толя, слава Богу, есть, – она вздыхает глубоко, будто старается выдохнуть ещё кусочек жизни из себя, чтобы скорее умереть. – Скучно стало, доченька. Раньше-то к соседке пойдёшь посидишь, поговоришь. По улице пройдёшься – обо всём узнаешь. А сейчас – как пень трухлявый, никому не нужный. Сидишь и смерти ждёшь. Раньше хоть на похоронах видела людей. Глядишь, несут покойного, к калитке выйдешь проводить. Хоть незнакомый, а всё же человек. Тогда по-другому провожали в последний путь. По-человечески, что ли. На руках гроб несли до самой могилки. Веточки еловые бросали на дорогу. По ним можно было найти, откуда, из какого дома покойного вынесли. Оркестр духовой заказывали. Идут музыканты, играют, аж сердце заходится, особенно когда в железные тарелки ударят. Многих я проводила, ведь мимо нашего дома всех, кого Бог призвал, пронесли. А сейчас на машину загрузят, как дрова, и на кладбище быстро отвезут. Из дома-то умерших сейчас не хоронят. Не дадут последний день в родных стенах побыть.

– Бабуль, ну времена-то меняются.

– Да знаю, что меняются, только не всё в лучшую сторону. Уводит оно человека от человека. Вот это беда. Перестройку вот провели. А я думаю, назвать надо её недостройкой. Ведь всё разом сломали. Я же вижу по телевизору: молодым негде работать. А работа – это главное в жизни людей. И в магазинах еда какая попало, сама знаешь. Будто людей специально хотят изжить с земли. Раньше в деревне-то у любого хозяина умного как было? Надумал дом хороший построить – рядом халупку какую-нибудь оставлял, чтобы перебиться в ней на время, пока сруб поставят. А потом уж старое рушил.

Приезжали как-то ко мне с телевидения, ты тогда ко мне ещё не ходила. Спрашивает один,

в очках, шустрый: «Скажите, Дарья Степановна, что помогает вам так долго жить?» – «Тьфу ты, какой глупый вопрос! Жила, – говорю, – да жила. Работала день и ночь, на печке не отлёживалась. Ещё Ванечку своего любила, людей любила. Со-вестливой была. Богу молилась. Жила и живу дальше. Видно, там, – говорю и на небо пальцем показываю, – не ждут меня ещё. Пока солнышку радуюсь. Понимаю, что малость задержалась тут. Но руки-то на себя не наложишь – грех».

Ох-ох-ох... Посиди сегодня со мной подольше. Не хватает мне людей рядышком, не хватает... Не наговорюсь никак.

– Конечно побуду, бабуля, мне торопиться некуда. Семьи нет пока.

– Плохо это, дочка. Любимые люди должны рядом быть.

– Я это понимаю. Но вот как-то не складывается. Сложно сейчас всё. Раньше хоть танцы были, где люди знакомились. А сейчас по интернету женихов и невест ищут. А это – что кота в мешке брать.

– О Господи, зачем же мир-то перевернули, от живого к железкам идут. Да пусть бы и шли, только живое бы не забывали, человеческое. Непонятна мне жизнь нынешняя. Зачем такие кино делать, где убивают людей, как мух. Ну не понимаю, и всё тут. Видать, нас из другого теста делали.

– Бабуль, я тебе что хотела сказать. Думала, сюрприз преподнести, ну ладно, скажу сейчас: к тебе из области опять гости приедут.

– Какие ещё гости?!

– Телевидение опять будет снимать.

– Да что ты, что ты! – машет возмущённо рукой бабуля. – Не надо мне никаких гостей. Зачем мне это?!

– Ну как же, баба Даша, – опешила Настя, – тебе уже сто лет. Таких долгожителей в области мало, по пальцам пересчитать. Ты много чего знаешь. В двух, считай, государствах пожила – в СССР и России нынешней.

– Название изменили, а земля-то одна – русская.

– Ну баб Даша!..

– Нет, доченька, не надо мне никаких гостей. Устала уже. Земля чужой становится...

– Баб Даша, ну на вас же вся область посмотрит! Известной станете...

– Да зачем мне эта известность да слава? Как мёртвому припарка. Слава – это для тех, кто её хочет иметь. Все кишки себе рвёт, чтобы его узнавали. Слава-то не в этом, дочка. А в том, чтобы

тебя уважали люди за душу. Вон сколько известных да прославленных. А любят ли их, помянут ли после смерти? Слава – это суета. Я никогда суетливых не любила. И себе не позволяла быть на них похожей. А сейчас, в мои-то годы, когда вся сморщенная, высушенная жизнью, разве мне до почётов и славы? Когда уйду, рада буду, если кто-то хоть одним добрым словом помянет, вспомнит имя моё, мол, жила такая баба Даша на земельке этой. Хочу спокойно уйти к моему сыночку и к Ванечке... А вы, молодые, живите, радуйтесь. Всё равно жизнь – это счастье, и не каждому оно дано. Любите. Любовь – это самая большая радость души, любовь хоть к кому: к матери ли, к детишкам, к любимому человеку. Радуйтесь, если эта любовь в сердце появится. Я-то вот любила, и меня любили. Значит, судьба пусть не во всём, но дадена Богом счастливой...

СОЛНЦЕ НИКУДА НЕ УХОДИТ

– Сынок, ты Глашку отведи за огород, пусть пасётся. Только привяжи к колышку крепче. А то она, дурная, убежит, не найдёшь потом, – старая женщина, держась за поручень крыльца, спускается во двор.

– Так я уже отвёл её, баб Маш, поближе к кустам привязал, чтобы днём было от солнца где спрятаться...

– Какой же ты у меня молодец, сынок, без подсказок знаешь, что делать. Хозяином растёшь. Повезёт же какой-то девчонке.

Павлик промолчал. На примете у него уже была одна. Он пока даже не предлагал ей дружбу, присматривался. Никому об этом не говорил, даже матери, с которой всегда откровенничал. А в деревне он полностью отключился от всего, что его заботило в городе, даже от мыслей о назревающей любви. Здесь вставал рано, когда небо на востоке становилось огромным нежно-розовым экраном, на котором чуть позже появлялся апельсин солнца. Оно робко заглядывало на землю: а можно ли зайти, ждут ли здесь? Павлик глядел на эту красоту, удивляясь энергии мощного светила. В деревне наступало очередное утро.

Пашка сидит на ступеньке, взлохмаченный, слушает бабулю, которая продолжает что-то говорить. На лице его расплылось выражение благодати. А на душе было так светло и радостно, как бывало только в детстве, когда мама подходила и нежно целовала его, ещё полусонного, тёплыми мягкими губами.

Босые его ноги – мокрые от сбитой росы, ко-

торая за ночь собралась на траве в ложбинке, где привязывал Глашку.

Бабуля бродит по двору – ищет ведро, засушенное ею вечером за поленницу, и никак не может найти. А он наблюдает за ней, хлопотливой и вечно суетящейся. Ему всегда нравилось гостить у бабы Маши. Вернее, не гостить, а работать. Хотя работа была для него в общем-то игрой. Наколоть дровишек для крепкого спортивного парня – раз плюнуть. Сложить эти дровишки потом в старом сарае. Принести за день несколько ведер воды из колодца, пыля по деревенской улице. Достать картошку из погреба, чтобы бабуля для него же её поджарила. Да разве всё это работа! Так, развлечение.

И хоть в этой деревушке на несколько оставшихся дворов не было молодёжи, Павлик находил себе занятие. Он, со своим спокойным характером, не любил увлечённости нынешней молодёжи громкой музыкой, бездельным тусованием в каком-нибудь кафе. Правда компьютер не обошёл его. Парень днями сидел у этого напичканного информацией ящика. Боясь, что зараза зависимости может глубоко коснуться и сына, мать уже два года отправляла его летом в деревню к своей двоюродной тётке, чтобы там, на природе, он мог поближе увидеть живой мир.

100

Сначала думала, что сынок долго не продержится в деревенском захолустье. Ан нет, получилось наоборот. Пашка отозвался с большим желанием.

А на второй год сам спросил:

– Мам, а к баб Маше этим летом надо ехать на подмогу?

– А что, очень понравилось в деревне? – удивилась мать. – Да езжай, хоть всё лето живи. Кстати, на днях бабуля звонила, спрашивала, приедешь ли, ей с тобой веселее.

И вот Пашка уже три дня у неё гостит. Скучновато, конечно, но когда в лес уходит, куда только деваётся скука. Ему тут всё интересно. Наблюдает с любопытством за жизнедеятельностью лесного царства. Сегодняшний день солнечный, по-июльски тёплый. Он уже помог бабуле картошку почистить, крыльцо помыл.

– Сынок, – удивлялась та, – ты прямо как девчонка, всё делаешь по дому. Даже тряпку в руки не брезгуешь брать.

– А что в этом такого? Это как и всякая работа, чего ею брезговать?

– Какая же у тебя мать умная, такого сына воспитала, – баба Маша вздохнула. И в очеред-

ной раз поплакалась, что ей судьба не даровала дитятки.

Мужа она десять лет назад похоронила и жила одна, если не считать кота с неоригинальным именем Васька и козы Глаши. Когда надоедало вязать да телевизор смотреть, особенно зимой, собиралась и шла в гости к своей подруге Валюшке, которая жила на другом конце деревни тоже одна. Вспоминали прошлое, грустили о прошедшей жизни, и баба Маша опять возвращалась в свой старенький обветшавший домик. Не только её жильё, все дома в Покровке были такими, как их хозяева, – древними, уставшими, ушедшими в землю своими корнями-фундаментами. С перестройкой те, кто помоложе, поразъехались, одно старичьё и осталось. «Куда ехать-то, – говорили, – когда одной ногой уже в могиле? Помирать будем на своей земельке...»

Пашка сидит на ступеньке крыльца, щурится от солнца.

– Сынок, ты бы на речку вечером сходил, со Степанычем поговорил. Тебе же нравится с ним разговоры разговаривать.

– А что, он в деревне? – встрепенулся Пашка.

– Да куда ж ему деться? Его палкой в город не выгонишь. Всё говорит, что, мол, зря не жил здесь в молодости, что, как крот, в шахте полжизни провёл.

Степаныч, он же Михаил Степанович, если навеличивать, оставшись без жены, приехал в Покровку к своей сестре вот уж как восемь лет назад. Да так и остался здесь. Квартиру в городе отдал внуку.

Своеобразным был человеком Степаныч. Местные любили с ним разговаривать. Старушки прозвали его Хфилософом. Пашка прошлым летом познакомился с ним на лесной речушке, куда сейчас его и отправляла бабуля. После первой встречи часто приходил сюда.

– Картошку огребу, воды принесу для грядок и пойду.

Вечером он собрался на речку.

– Сходи, сынок, отдохни, – баба Маша вслед по привычке перекрестила паренька. – Глядишь, и Степанычу веселей будет...

Солнце уже приближалось к горизонту. Пахло травами, подвяленными за день жарой. До речки – не больше пяти минут ходу. Спустившись с косогорчика, парнишка увидел за кустами ивняка спину Степаныча. Тот сидел у самой воды, сложив руки на согнутых коленях. Тряпичная кепка производства его сестры Дарьи прикрывала из-

рядно польеившую голову. Он смотрел на воду, чему-то улыбаясь слегка. Выражение полного счастья человека, которому ничего-то в жизни, кроме этой речки и этих деревьев, не надо, сияло на лице.

– Дядь Миша, здравствуйте!

Степаныч обернулся.

– А, Пашка! – радостно воскликнул. – Опять приехал? Ну садись рядом, – похлопал по земле. – Поговорим, а то в деревне со стариками не о чем беседовать.

– Дядь Миш, а вы что, рыбалкой увлеклись? Ключёт?

– А, ты про это? – дед посмотрел на удилище, воткнутое в берег. – Да это так... На нём и крючка-то нет...

– Как это?!

– Это я для видимости втыкаю, чтобы деревенские меня подозревать не стали в том, что с головой что-то не в порядке. Для них же просто вот так сидеть и на красоту эту смотреть – непонятно. А так – вроде рыбачу, делом занят.

Пашка улыбнулся выдумке Степаныча.

– А ты школу-то кончил уже?

– Нет, ещё годик остался.

– И куда пойдешь?

– Не знаю, может, в медицину.

– Вот это хорошо. Медицина, она нужна людям. Будешь хорошим врачом, всегда будут помнить, даже когда помрешь.

– Ну, дядь Миш, до помрешь ещё дожить надо.

– Это я к слову. Медики – это профессия от Бога! Они людям надежду дают. А как без неё жить, без надежды? Это великое дело – иметь надежду и веру в сердце. Вот я слушаю, по телевизору говорят, мол, какие-то там учёные всё о Боге узнать хотят, что да как, откуда появился. Докапываются, выясняют, была или не была его женой Мария Магдалина. Доказывают, что и святых людей-то не было. Да на хрена это всё надо! – выругался Степаныч. – Миллионы лет люди про Бога знали, что был он, есть где-то там на небе, за людей старался. И на тебе – лишать людей веры и надежды. У нас и так не слишком много хорошего в мире человеческом. А если веры лишешь и надежды человека, что будет? А ещё взять да любовь отобрать. Зачем тогда жить-то? Мы и так тысячелетия кресты несём. Каждый свой. Это какую силу и волю надо человеку иметь, чтобы не бросать свой крест, а тащить, тащить и тащить. За жизнь бороться надо. Правда, у всех по-разному получается.

Ты, Пашка, заметил, что если человеку плохо, он бежит в церковь, к Богу? Опять же с надеждой на его помощь. А к кому ещё бежать? В кого ещё верить? Веры ни в кого другого нет. А без неё совсем паршиво будет. Меня как в шахте-то привалило, лежу и думаю: «Жить-то всегда охота...». Я тогда уж до пенсии дни считал. «Ну, – думаю, – не доработаю». Давай молиться, чтобы хоть немного ещё пожить Господь дал. Неправда, когда говорят, что старикам жить неохота. Понятно, когда или тяжело болеют, или нервы совсем не в порядке, то в голову мысль что-то сделать с собой приходит. А вообще-то в любом возрасте жить охота.

Ну так вот, значит, лежу, – Степаныч опять вернулся к воспоминанию о трагедии в шахте. – Молюсь о помощи и размышляю: «Надо мной сотни тысяч тонн земельки, высота пятьсот метров, мы тогда отрабатывали лаву на пятом горизонте. Хорошая, – думаю, – могилка будет. А какие-нибудь археологи через тысячу лет, может, найдут мои кости и скажут: «А чего этот мужик на такой глубине делал, что его занесло сюда?»

– Дядь Миш, да никакой археолог на пятьсот метров не копает.

– Да я что, тогда сопоставлял, где они копают, а где нет? Обидно было умирать. На пенсии отдохнуть, пожить спокойно хотелось. А что, может, молитва и помогла. Слышу часов через шесть шорох, стук, потом голоса – спасатели пришли. До сих пор не могу забыть того чувства, когда меня спасли. Как будто по-новой родился. И на солнце по-другому посмотрел, и на жену, и на детей. Вся душа перевернулась. Я потом такого никогда не испытывал. Знаешь, жизнь оценивать стал по-другому. Вот все ищут смысл жизни. Да не надо его искать. Смысл – он в самой жизни. Любить надо, радоваться самой маленькой детальке, любоваться всем этим, что дано тебе, – он обвёл рукой круг перед собой. – Вот, видишь, букашки над водой выются тучкой? Танцуют. Разве это не красиво? А посмотри, – Степаныч протягивает ладонь к воде, – посмотри, как по речке плывут облака. Вот он, мир, весь перед тобой. Любишься не хочешь. Кто этого не видит – тот ничего не видит и не знает в этой жизни. А кто видит, тот полезное от тех же жучков берёт на вооружение. Сколько вон учёные сделали машин всяких на основе строения этих насекомых, всяких приборов насоздавали по принципу их строения. Это для простого человека жук – просто жук. А для умного – это целый мир.

Вы, молодые, сейчас спите в компьютере. Что вы видите там? Да ничего. Процентом на семьдесят там сплошное дерьмо, для души отравка. Нет, я, конечно, не такой древний, чтобы не понимать, что компьютер – это прогресс. Но только когда его по делу использовать. А не для стрелялок и не для того, чтобы смотреть всяких геев, тьфу ты, откуда они повыползали миллионами и где скрывались, что любовь переросла чёрт-те знает во что. А фильмы-то какие смотрите... Одни убийства. Всякие ганстеры, мужики – суперомены...

– Дядь Миша, ганстеры и супермены. С английского «мен» – это мужчина, а «супер», ну, это проще сказать «крутой».

– Да мне без разницы, какой он там крутой ли, перекрученный... Это вы, молодые, грамотные. А у меня восемь классов. Таких-то и слов раньше не было. И фильмов таких не смотрели. Посмотришь раньше кино – и на душе радостно. А это что за фильмы? Без добра, без сердечности. Огромнейшие деньги в них вкладывают, а потом начинают страдать, что их дети психами растут. Во всём мера должна быть. Своя доза. В воспитании, в любви. Ну, скажем, как в выпивке. Будешь много пить – станешь алкоголиком. Будешь тем же спортом заниматься, всё выкладывая, – организм полетит. А мы сейчас нормы ни в чём не знаем. Денег хотим мешками. Любви такой, какой ты желаешь, даже на убийство идут из-за баб. Правильно всё это?! Я так думаю, что сами люди такое допустили, потому что не видят вот этой красоты, не понимают её, сути жизни не понимают, – Степаныч опять широко взмахнул рукой над речкой, – не живут этим, не нюхают запах лесных травок, а сам знаешь, что нюхают. Да что там говорить, в мире что-то не так и не то творится. От земли мы отошли, думаю. Себя в камень заковали в городах. Ты спроси у детишек малых, они корову-то живую видели? Или козу, телёнка, лошадь? Вот заблудись кто из молодых в лесу, думаю, с голоду помрёт. Это в лесу-то, где под ногами и над головой еда...

Степаныч тяжело вздохнул. Но мысли его раскрутились на полную скорость, и он продолжил:

– Вот, говорят, при социализме люди работали по-другому, рекорды ставили. Но и в том времени были свои болячки. Разве жили все эти рекордсмены богато? Жили как и все. Правда, особо заслужившим и грамоты давали, и награды всякие. А к чему это приводило? К гордыне! А гордыня, опять же, грех. Кроме гордыни и славы,

ничего не имели. За всю жизнь себе на самую примитивную машину не заработывали. В магазине продуктов нормальных купить не могли. Но зато ни на кого не надеялись, своё всё возвращали: и огородное, и живность всякую. Мебель даже сами делали. Конечно, это неправильно – работать на производстве, как вол, и ничего не иметь, даже на отдых. Путёвки по блату доставали. Я размышлял, что за слово такое – «блат». От чего оно произошло? Хорошо оно прижилось в нашей жизни. И после перестройки осталось рядышком с нами. Только, так сказать, позицию сменило. Сейчас «блатом» стало на работу устроиться. Институты все позаканчивали, а идти некуда. А не работая, ты и семью создать не сможешь, а значит, и жизнь нормально не проживёшь. Вот у девчонок спроси, за кого замуж хотели бы выйти? Тебе, не задумываясь, скажут: «За предпринимателя». Ядрён корень, где же столько предпринимателей-то найти? Слово «любовь» даже в голове у этих невест не сидит.

Ты вот, сынок, ещё молодой, многого в жизни не понимаешь. Счастливый, как птенец в гнезде, за своими родителями: накормят, оденут, машину купят, в институте выучат. Но это ты пока молодой – счастливый. Ведь юность и детство – самые счастливые кусочки жизни. А как окупёшься в самостоятельность, когда самому придётся всё решать, поймёшь, что за словом «жизнь» столько мучений, столько криворядов кроется. Порой всё, как кубик Рубика, пытаешься сложить, а не получается. Вот тот-то крест, о котором я вначале говорил, придавливая тебя к земле своими болезнями, проблемами с детьми, несчастной любовью, чьей-то злобой. Некоторые надрываются – и всё: крах. И знаешь, что в жизни вздохнуть помогает? Творчество, увлечение чем-нибудь. Я считаю счастливыми тех людей, кто им занимается. Я сам из деревяшек фигурки строгаю. Конечно, это мелочь, но сколько счастья получаю! Дарю потом людям. Может, эти игрушки им и не нужны, но мне всё равно приятно, душа прямо поёт, руки радуются, когда я делаю какую-нибудь птичку, зверюшку. Хоть что-то оставляю. А ведь след оставить на земле нельзя, не ступив на неё... Эх, Пашка, притомил, наверно, тебя своими разговорами?

– Да нет, дядь Миш, интересно с вами.

– Ну и на том спасибо. И мне хорошо, выговорился. Домой пора идти. Солнце уже над горизонтом висит. Комарьё надоедает.

– Да, солнце скоро уйдёт...

– Неправильно говоришь, сынок, никуда оно и никогда не уходит. Оно всегда на одном месте. Это земля вокруг него вертится, свои бока подставляет под его тепло, чтобы каждая букашка его получала. Мы даже не задумываемся, какой бесценный божий дар над нашей головой висит. Привыкли, что оно всегда есть и светит всегда. И раздаёт своё тепло бесплатно: живите, мол, люди, радуйтесь! А мы, как последние поганцы, хотим уничтожить такой дар, как земля, своими бомбами. Это сколько же их взрывают, уму непостижимо! А ведь земля живая, я верю в это. А мы этими взрывами куски её тела вырываем. Представь, если у человека кусок живого вырвать! Вот то-то и оно...

А почему, думаешь, люди золото ценили в древности? Не потому, что оно что-то стоило. Люди, думаю, ценили его потому, что считали, будто это кусочек солнца с неба свалился. Как дар. Это потом золото злом стало. И мы же сами к этому привели. Кусочек солнца продавать стали. Такой вот расклад, сынок. Эх, люди-люди... Вытаскивай мою удочку, пошли вечерять. Хозяйки нас уже заждались, поди.

Пашка поднялся, потянулся с удовольствием. «Как хорошо-то жить», – подумал.

– Видишь, ты какой сильный да красивый! – не удержался, похвалил парня Степаныч. – Я тоже был когда-то таким, – в глазах его появилась грусть. – Ниночку свою так любил, так любил... Детей своих любил, ради них и работал, и жил... Счастливым был. Я же, когда увидел первого сына Димку после рождения, до беспамятства был рад. Вот, думаю, это и есть счастье настоящее – детей иметь. Когда он стал подрастать, я увидел, как он на меня похож, ну копия я маленький. Даже некоторые движения были моими. Думаю, как же природа такое сотворила. Я в Димке свою вторую жизнь проживаю. А внук-то ведь тоже на отца похож. Значит, моя жизнь опять продолжается... Вот такая арифметика счастья. Да и не только в этом я счастливый. Нашёл в старости себя в этой красоте да покое...

Сумерки опускались на лес. Двое шли по тропинке, заросшей травой, к домикам на косогоре. Там, наверху, в конце огорода, у сбитого из жердин забора ждала баба Маша. Рядом лежала коза Глаша. Женщина увидела идущих, подумала: «Спелись, стар и млад. Да это и хорошо. Пусть молодой учится у старого. Степаныч жизнь прожил порядочно, дурному не научит». И, улыбаясь, помахала им рукой.